Дёрина Н.В., Савинова Т.С., Савинов Д.А.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

Магнитогорск, Россия

doi 10.18411/gdsn-28-02-2017-15

idsp 000001:gdsn-28-02-2017-15

Ранняя лирика Н. С. Гумилева и творчество поэтов Озерной школы: архетип пути

С самого начала сходство внешней канвы гумилевских построений и опыта «Озерной школы» дополняется следующим уровнем родства: идентичностью глубинных процессов внутри русского и английских художественных миров. Наиболее наглядной и простой иллюстрацией данного положения может служить общий для Гумилева и поэтов - «озерников» принцип существования их лирических героев – принцип движения. Уже одно из первых стихотворений, в которых у Гумилева говорится о перемещении в пространстве

Я вечернею порою над заснувшею рекою,
Полон дум необъяснимых, всеми кинутый, брожу.
Точно дух ночной блуждаю, встречи радостной не знаю,
Одиночества дрожу.

Гумилев, 1, 19;

оказывается напрямую связанным с «Тинтернским аббатством» Вордсворта, где герой также предстает испуганным одиноким «скитальцем по рекам»:

I bounded o'er the mountains, by the sides
Of the deep rivers, and the lonely streams,
Wherever nature led: more like a man
Flying from something that he dreads, than one
Who sought the thing he loved.

Я скитался по горам, по берегам
Глубоких рек и уединенных ручьев,
Куда вела природа; больше похожий
На человека, который убегает
От страшного, чем на того, кто ищет любимое;

Впрочем, несмотря на несомненное сходство сопутствующих гумилевскому и «озерному» движению условий, исследователи ограничиваются при анализе этого текста констатацией более привычных параллелей. В частности, приведенные гумилевские строки рассматриваются исключительно в качестве реминисценции на «Ворона» Э. По, известного русскому поэту по переводу К. Бальмонта, и на бальмонтовскую же «Фантазию». На первый взгляд, мы, действительно, сталкиваемся здесь с целым рядом общих моментов. В тексте Бальмонта также появляются «духи ночи»:

Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моление,
И тоска, и упоенье, – точно искрится звезда,
Точно светлый дождь струится, – и деревьям что-то мнится,
То, что людям не приснится, никому и никогда.
Это мчатся духи ночи, это искрятся их очи,
В час глубокий полуночи мчатся духи через лес.

А с «Вороном» гумилевский стих объединяет и время действия, и состояние героя, «наполненного думами»:

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался...

Однако при сопоставлении контекстов, в которые включены совпадающие строки, становится ясно, что в данном случае вряд ли стоит говорить об ученическом подражании или о детальном воспроизведении картины, созданной предшественниками. Уже в этом, по мнению гумилевоведов, целиком «подражательном» опыте Гумилева странник выступает отнюдь не бездеятельной стороной («полусонной», отдающейся «странным грезам»), пассивно воспринимающей происходящие вокруг события (а именно таким является герой еще одного бальмонтовского текста – стихотворения «В час рассвета»: «Над ущельем осторожным, меж тревожных чутких скал, / Переключке горных духов в час рассвета я внимал» (Бальмонт, 51)). Если в «Фантазии» мы имеем дело с зарисовкой замкнутого мира, в который людям – никому и никогда – не будет доступа, то у Гумилева в центре картины находится предпринимающий достаточно активные действия лирический герой. Если у Бальмонта подчеркивается отсутствие связи между людьми, с одной стороны, и «лесным» бытием и его «духами» – с другой (такой «лес» человеку даже и «присниться» не может), то гумилевский персонаж сам блуждает, словно «ночной дух».

И в точности также не знает покоя Агасфер Вордсворта, для которого неизвестная и необъяснимая цель странствия всегда остается недостижимой:

Day and night my toils redouble,
Never nearer to the goal;
Night and day, I feel the trouble
Of the Wanderer in my soul.

С каждым днем мой тяжкий путь становится все
труднее,
Не приближая к цели;
День и ночь я ощущаю тревогу
Скитальца в своей душе.

И таким же покинутым всеми ночным бродягой является моряк Кольриджа:

I pass, like night, from land to land...	Я бреду, как ночь, из края в край...
This soul hath been	Эта душа была
Alone on a wide wide sea...	Одинокой в широком-широком море...

Дальнейшее продвижение Гумилева вперед также происходит по тропам, параллельным тем, что были проторены английскими предшественниками. Вскоре после «побега в леса» у него обозначается еще одна точка пересечения с «озерной» художественной практикой. Для английского Вечного Жида самым страшным в его участии становится неприкаянность: все обитатели земли, кроме него, находят пристанище, «спешат куда-то / В сень родную – на ночлег», начиная с «потоков» и «туч», которые могут «заснуть» в «глубоких долинах» или «улечься за холмами», и заканчивая «морскими обитателями», чьим кровом являются морские волны. В «Заводях» Гумилева, как совершенно справедливо замечает Ю. Верховский, «мирные и тихие представления <...> дома, тех, у кого есть дом – или вызывают печаль одиночества, <...> или заставляют бездомное сердце мучиться»:

Сонно дрогнул камыш,
Пролетела летучая мышь,
Рыба плеснулась в омуте...
...И направились к дому те,
У кого есть дом <...>

Гумилев, I, 189.

Подобно Агасферу Вордсворта, герой «Заводей» один остается бесприютным:

Я один остался на воздухе
Смотреть на сонную заводь,
Где днем так отрадно плавать,
А вечером плакать,
Потому что я люблю тебя, Господи.

И в данном случае характер переживаний, о которых идет речь, оказывается не просто схожим, но, фактически, идентичным тому, что испытывает одержимый неизбывной «манией пути» Мореход Кольриджа, желая

To walk together to the kirk, And all together pray While each to his great Father bends...	Пойти со всеми в церковь, И помолиться, Когда каждый устремляет свои помыслы к великому Творцу...
---	--

Это желание повторяется и в «Оде уходящему году» (Ode to the Departing Year), где поэт создает образ человека, достигшего необходимой степени совершенства:

I recentre my immortal mind In the deep Sabbath of meek self-content; Cleans'd from the vaporous passions...	Я погружаю мой бессмертный дух В Субботу глубокого умиротворения; Очищенный от пустых страстей...
--	---

У Гумилева подобные устремления позднее находят отражение в стихотворении «Вечное» (1912):

Я в коридоре дней сомкнутых,
Где даже небо – тяжкий гнет,
Смотрю в века, живу в минутах,
Но жду Субботы из Суббот <...>

Гумилев, 2, 85.

Разумеется, при интерпретации этого произведения на первом плане всегда находится вопрос о связи гумилевского текста с учением Ф. Ницше. И «Суббота», вынесенная автором уже в первую строфу, является (как это и бывает обычно с реминисценциями у Гумилева) прежде всего «антиотсылкой», «знаком анти–Ницше», направленным на то, чтобы передать принципиальное расхождение во взглядах с немецким философом. Ведь в отличие от Ницше, для которого «субботу суббот» с ее «успокоением, безмятежностью и сытостью» может желать только слабеющий человек «эпохи распада», для Гумилева здесь «Суббота» – идеальный и желанный мир, «Конец тревогам и удачам, / Слепым блужданиям души».

Однако если отвлечься от проблемы сложного отношения поэта к учению немецкого философа и соотнести гумилевский стих с мечтами Кольриджа, (без сомнения хорошо известных Гумилеву), то он предстанет уже в несколько ином качестве: а именно как развитие начатой в кольриджевской «Оде...» темы. Помимо общего для двух авторов стремления к «Субботе», в тексте английского поэта появляется и «червь», который должен поучаствовать в продвижении современного человека к «субботному миру»: «Средь мира и довольствия мы возопили, примкнув к воплю алчущих голода и крови. <...> Такое зло не может остаться безнаказанным. <...> Бог сотворил червя и подточит стебель нашей гордыни».

Конечно, тот фрагмент «Вечного», где упоминается это создание, также в большей степени развернут в сторону Ницше. Если у Кольриджа речь идет о «карательной» роли посланца, то тексты Гумилева и Ницше объединяет мысль о человеческой «дороге от червя». Но если мы сопоставим гумилевскую цель такого пути –

Я душу обрету иную,
Все, что дразнило, уловя.
Благословлю я золотую
Дорогу к солнцу от червя <...>

– с тем, на что, в конечном счете, нацелено пришествие червя у Кольриджа, то увидим, что и на этот раз сходство построений двух поэтов выходит за уровень лексической близости. Гумилевская дорога (в отличие от Ницше, у которого путь ведет «от червя» к новому «человеку»), должна

заканчиваться появлением нового бытия («солнца») и постижением некой «древней мудрости земли», которая, как известно, на протяжении многих лет была связана для поэта с учением друидов. В «Оде...» Кольриджа рядом с отсылкой к Ветхому Завету внезапно возникает «Бог Природы», призванный при помощи огня преобразить землю и создать новый мир и плотную сближающий «озерную» художественную философию все с той же друидической «мудростью»:

Speak! from thy storm-black Heaven <...>!
And on the darkling foe
Open thine eye of fire from some uncertain
cloud!
O dart the flash! O rise and deal the blow!
The Past to thee, to thee the Future cries!
Hark! how wide Nature joins her groans
below!
Rise, God of Nature! rise.

Проговори с черных грозовых Небес!
И на злобного врага
Взгляни огненным взглядом с неведомого
облака!
О, метни молнию! О, восстань и нанеси
удар!
К тебе зывают Прошлое и Будущее!
Вслушайся, как всюду внизу стнает
Природа!
Восстань, Бог Природы, восстань!

И если принять во внимание тот факт, что и в текстах Гумилева, и в произведениях Кольриджа постоянно присутствует устойчивая параллель огонь – солнце, всегда связанная, как мы убедимся позднее, с идеей творения нового бытия, то совпадение позиций двух поэтов покажется уже совершенно закономерным.

Если же мы вернемся к началу гумилевского пути, то увидим, что в текстах русского поэта, как и у Вордсворта, как и у Кольриджа, возникают и начинают варьироваться мотивы маниакальной приверженности жребию и обреченности странствиям. Если в стихотворениях 1902 года его персонажи еще просто «блуждают» с «необъяснимыми думами», то несколько лет спустя у него говорится об «очарованности» путника («Зачарованный викинг, я шел по земле...»). Тема навязанности герою его пути усиливается в «Одержимом» (1908), где присутствуют уже практически все атрибуты английских странников. При помощи того же, что и у Кольриджа, набора эпитетов, автор рисует перед читателем мир, в котором душа также измучена неизбежным:

Луна плывет, как круглый щит
Давно убитого героя,
А сердце ноет и стучит,
Уныло чуя роковое.

Гумилев, 1, 178.

Где мучительное состояние одержимости также связано с властью «неведомого»:

В болоте темном дикий бой
Для всех останется неведом;
Но, как всегда, передо мной
Пройдет неведомое мимо <...>

Гумилев, 1, 179.

И где, как и в поэме Кольриджа, в которой моряк попадает во власть могучего «духа, что выжидал в стране сумрака и снега» (*The spirit who bideth by himself / In the land of mist and snow*), герой также вынужденно покоряется гораздо более могущественной силе («И верх одержит надо мной / Привыкший к сумрачным победам» (Гумилев, 1, 178).

Не менее откровенно тема недобровольности движения звучит и в «Возвращении Одиссея», где мы видим еще один вариант бесконечного пути, о котором лишь на первый взгляд справедливо пишут как о «тяге к новым странствиям и недоверии к домашнему воздуху, слишком пропитанному ленью, чувственностью и удовольствиями». Ведь когда «Улисс <...> обнаруживает, что его возвращение домой – это возвращение в ненастоящий дом и что, в конечном счете, у человека нет дома на земле», происходит это вовсе не по его собственной воле. Здесь герой, и ранее предчувствовавший победу над собой некой «темной» силы, уже прямо говорит о том, что он подчинен власти, от которой невозможно избавиться, и что впереди у него – (пока еще отнюдь не мир «Субботы из Суббот»):

Так! Но кто, подобный коршуну
Над моей душою носится,
Словно манит к року горшему,
С новой кручи в бездну броситься.

Гумилев, 1, 227.

Так что если в созданных Гумилевым мирах герои (и Одиссей в том числе) и живут, как пишет В. Брюсов, «не по законам обычной психологии, а по странным, необъяснимым капризам» автора, то следует признать, что все эти «капризы» оказываются очень постоянными и осмысленными. Ведь тот же, что и в предыдущем тексте, новый мир («бездна»), ожидающий героя, а также неизменность его пути выдвинуты на передний план и в следующих строках:

Старик, спеша отсюда прочь,
Последний раз тебя целую
И снова ринусь грудью в ночь
Увидеть бездну грозную.

Гумилев, 1, 232.

На фоне подобных однозначных и настойчиво повторяемых деклараций трудно согласиться с мыслью о том, что движение у Гумилева – это всегда «божественное движение», «паломничество», религиозное служение, «символ Абсолютного начала» и что лишь только его отсутствие – статика порождает ощущение «опасности» и «ужаса». Несложно доказать, что данные чувства связаны в гумилевском поэтическом опыте не с прекращением движения, а прежде всего с ним самим. Ведь если проанализировать ту «семантическую систему, определяемую знаками начала движения, пути и цели», которая оказывается «определяющей для стилистической и поэтической специфики очень широкого круга произведений Гумилева разных лет творчества», то

окажется, что каждый из элементов обозначенной триады неизменно включает в себя и чувство опасности, и всевозможные «ужасы».

Как мы уже могли убедиться, гумилевского героя почти всегда толкает в дорогу «страшное» и неизвестное. Сам же «путь» (вернее – «черные пути») свершается в сопровождении не только «привыкшего к сумрачным победам», но и прочих странных, зловещих и часто враждебных спутников. Среди них уже на начальном этапе находятся и беспощадный «бог Тревоги» («Избиение женихов»), и «грусть ледяная», и мысли о «счастье без рая» («Осень»), и «болотная выпь» («Покорность»), и жуткий «Призрак Счастья» («Ягуар»).

В качестве цели пути здесь появляется бытие, даже отдаленно не напоминающее конечный пункт религиозного «паломничества». Если поначалу у Гумилева еще говорится, например, об «острове ундин» или о «пучинах», где все же можно обрести искомое «летучее счастье» (Гумилев 1, 113), то вскоре перед читателем открывается мир, соотносимый с «дном мирового колодца», «льдами тоскующего полюса» и другими не менее мрачными областями:

А ушедший в ночные пещеры
Или к заводам тихой реки
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас зрочки.

Гумилев, 1, 183;

Тень от гигантской горы
Пала на нашем пути.

Область унынья и слез –
Скалы с обеих сторон
И оголенный утес,
Где распростерся дракон.

Гумилев, 1, 197.

И даже тогда, когда «с безумствами 1906 – 1908 гг.» было покончено, и Гумилев уже «вполне освободился от декадентства» и «чрезвычайно опасного имморального уклона» (то есть в то время, когда гумилевский странник уже мог быть «идентифицирован как Христос», а итогом странничества стало отчетливо видеться «воцерковление» и «откровение Царствия Небесного»), меняется, на самом деле, немногое. По гумилевским «лесам, горам и плоскогорьям» все так же «бегают свирепые убийцы», жаждущие «свежей крови» («Военная», 1910). А во «Встрече» (1911), где герой, на первый взгляд, имеет дело уже совсем не с тем миром, с которым он столкнулся в «Выборе» или «В пути» (теперь он видит и блеск ручья, и зеленеющие платаны, и, как кажется, преисполнен совершенно иным мироощущением – он молится, и у него «звонит душа»), вообще утверждается неизменность всего прежнего:

И все же темная тоска
Нежданно в поле мне явилась,
От встречи той прошли века,
И ничего не изменилось.

Гумилев, 2, 46.

Более того – все же встретив на своем пути Того, кто направляется к «раю», гумилевский герой теперь уже точно узнает, что путь туда, как и прежде, остается для него закрытым («Он руку оттолкнул мою / И отвечал: «Не узнаю!»).

Список используемых источников информации

1. Айхенвальд, Ю. Силуэты русских писателей / Ю. Айхенвальд. М.: Республика, 1994. 591 с.
2. Бальмонт, К. Д. Избранное / К. Д. Бальмонт. М.: Сов. Россия, 1989. 592 с.
3. Белый, А. Символизм как миропонимание / А. Белый. М.: Республика, 1994. 528 с.
4. Блок, А. О романтизме // А.А. Блок. Избранное. М.: Панорама, 1995. С. 433 – 444.
5. Брюсов, В. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. Статьи и рецензии 1893 – 1924 / В. Брюсов. М., 1987. С. 222.
6. Горбачев, Г. Очерки современной русской литературы. Л., 1924. С. 18 – 19.
7. Гумилев, Н. С. Сочинения. В трех томах. Т. 3. Письма о русской поэзии / Н. С. Гумилев. М.: Худож. лит., 1991. 430 с.
8. Гумилев, Н. С. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы (1902 – 1910) / Н. С. Гумилев. М.: Воскресенье, 1998. 502 с.
9. Гумилев, Н. С. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. 2. Стихотворения. Поэмы (1910 – 1913) / Н. С. Гумилев. М.: Воскресенье, 1998. 344 с.
10. Дерина, Н.В. Художественное мироздание Н. Гумилева и романтическая идея. Дисс. ...канд. фил. наук. Магнитогорск, 2009. 185с.
11. Иванов, Вяч. О Новалисе / Вяч. Иванов // Мировое древо. 1994. Вып. 3. С. 170.
12. Кольридж, С. Т. Из «Литературной биографии» / С. Т. Кольридж // Эолова арфа: Антология баллады. М., 1989. С. 572 – 575.
13. Оцуп, Н. А. Николай Гумилев. Жизнь и творчество. (Судьбы. Оценки. Воспоминания XIX – XX вв.) / Н. А. Оцуп. СПб., 1995. 425 с.
14. Павловский, А. И. О творчестве Николая Гумилева и проблемах его изучения / А. И. Павловский // Николай Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 3 – 30.
15. По, Э. А. Лирика / Э. А. По. Мн.: Харвест, 2002. 480 с.
16. Coleridge, S. T. The Theory of Life. – In: Coleridge S. T. The Complete Works. Vol. 1. N. Y. L., 1897.
17. Coleridge, S. T. Verse and Prose. M., 1981.
18. Wordsworth, W. Selected poems. London, Heinemann, 1973.